

Сергей МОРЕЙНО

Сергей Морейно родился в 1964 году в Москве. Окончил Московский физико-технический институт. С 1986 года живет в Латвии. Автор многих книг (рассказы, стихи, эссе, переводы); публиковался в журналах «Воздух», «Даугава», «Дружба народов», «Иностранная литература», TextOnly и др. Лауреат Русской премии (2008), Премии Андрея Белого (2018), Премии «Мастер» (2021) и др. Редактор «Рижского альманаха» (с 2021). В «Волге» публиковались проза и эссе (2025).

РАССКАЗЫ

ДВА ИДИОТА ИЗ ПОСЕЛКА РЫБАЧИЙ

savimi palesini paukšcius...¹
Gytis Norvilas

Ритуальная еженедельная стирка, белое, темное, ритуальная система развешивания белья, у каждого своя. Сушилка большая, раскладная, семь прутьев в длину, два по шесть прутьев в ширину, куплена в Дембно, Нойдамм, Ноймарк, Восточная Пруссия; если ехать с запада, то влево от Кюстрина-на-Одере. Будь у Пана Бога такая сушилка, у него было бы больше времени для медитации, и он дал бы Жукову свободный проход через плацдарм, отведя войска неприятеля, которому уже нечего было ловить, но, как сказал один поэт, будь у дяди сиськи, он был бы тетей. И по сей день в районе Зеелова чувствуешь запах большой крови, пролитой то ли задорого – это как посмотреть, – то ли задешево, но как ни смотри, по цене крови.

Ежедневная половинка от давления. Когда предстоит стресс, то две.

Давления крови, I mean.

Ритуалы продлевают жизнь, таблетка продлевает жизнь, таблетки тоже ритуал, все вместе привело к невиданному прогрессу: продлению средней продолжительности жизни на двадцать лет. Или – на больше?

...Фотки Руки с каким-то обдолбанным литовцем, обоюдная фотосессия конца прошлого века, у Руки холодное удлиненное личико, губки капризные, глаза умненькие чуть подведены: готический ангельчик, черный беретик набок.

– Кому нужны эти последние двадцать лет, когда ты, больной и никому не нужный, станешь медленно подыхать перед телевизором? – об этом спрашиваю я Руку, хотя о том же самом Рука могла бы спросить меня или окружающее пространство, но для нее это вопрос риторический, а для меня насущный: я старше.

Я резонерствую:

– А те, что в свои девяносто отплясывают на свадьбах правнуков, и без нашей медицины плясали бы...

Пустырь в Рыбачьем, буйные сорняки, сорняки в Восточной Пруссии в конце октября еще о-го-го, Рука в бежевом плащике торопится за шоколадом. Всё, собственно: пустырь, сорняки, шоколад.

Старики, которых мы знавали молодыми; у каждого свой старик, на что им эти лета, курят себе в тяжелом молочном тумане на утреннем берегу моря, у моего, я знаю, дырявый носок, я был Frauenjäger, – понимаешь? – твердил он накануне вечером, лежа на кровати в вязаных красных носках, левый, ближний к двери – с дырой. Да, был «охотник за юбками»,

¹ покорми собой птиц... Гитис Норвилас

профиль апача, копна серебристых волос в неполные пятьдесят, а теперь вышел на последнюю *jetée*, и правнуков у него не будет, сын утонул, разве что дочь морского царя пошла за него замуж; не перегнул ли я палку – нет, не перегнул, нечего перегибать, я сам уже прохожу секьюрити перед выходом к *gates*.

Сорняк октябрьский.

Пара швабских теток, готовых тащить личное осознание вины аж до чистилища, хотя правнуки могли родиться у тех, кто никак не разделяет этой вины, даже по счету якобинцев. Дюны, туман, пиджак Руки в красно-белую полоску; она спрашивает, сколько времени пройдет между тем, как положишь деньги на мобильный, и тем, как они на него лягут? Я ответил, что деньги на телефон несут гномики – по пещерам, соединяющим косу с офисом оператора, – она рассмеялась.

Что мы там тогда делали – делились опытом рекламы. В промежутках гуляли по скользким деревянным мосткам: отель стоял почти в море. Играли в пинг-понг. Одну из теток звали Петруша, она носила длинное черное пальто с большими пуговицами полумесяцем. Это пальто, вместе с его пуговицами, напоминало всем, что на календаре – осень. К обеду за огромными столами, человек на восемь-двенадцать, каждому полагалась рюмка медовухи, но почти никто не пил, и в первый же день Рука предложила разделить оставшийся ресурс пополам – по две с половиной, ведь так? Я усомнился, что после этого мы сможем плодотворно работать. «Мы требуемся в паузе, – заявила Рука. – Мы нуждаемся в паузе». Тогда было модно делиться в большом составе, группами, кучками, тет-а-тет, а нынче все залезли в ящики, добровольно, не выгонишь на улицу, шваркнул с утра стопочку или пивка, закусил зеленым лучком и лезь в ящик. Сидишь в семейных трусах, пахнешь потом, а если вдруг что, отключаешь изображение.

Как будут ухаживать при коммунизме? Чем соблазнять? Цветы, киношка, хороший обед? Шуба, бриллианты станут банально примитивными. Может, придется совершать подвиги – летать на Марс во имя любимых, давать их имена кометам, ходить ежедневно на ураган, пока не уложишь ее в постель?

...Смотрю на нас со стороны.

– Вы еще можете успеть поехать, – сказала Рука, когда я вышел из такси и втащил чемодан в холл. – Ресторан должен еще работать.

Это были самые надежные слова за последние несколько часов: часов поиска надежной парковки, ожидания ненадежной маршрутки, полета еще менее надежным самолетом, езды в еще более ненадежном такси: твердая земля, два берега одной воды, полосатый пиджак.

Конечно же, могу успеть.

Кемаль не встретил меня в аэропорту. Просто не знал, что я прилетел: я перепутал день вылета, договариваясь с ним о встрече. Я провел какое-то время в очередях на выход в страну, потом некоторое время посидел в здании, ожидая Кемалья, потом позвонил ему, и еще через сколько-то времени он прибыл из весьма дальнего пригорода... Со своим вечно печальным и столь же лукавым выражением лица он подхватил меня, кинул в багажник мой чемоданчик и повез к себе – умыться-переодеваться. Мне виделось, что житель города в массе своей будет и криклив, и агрессивен, но местное население оказалось на редкость спокойным. Когда на извилистой улочке некто вставал и мирно разгружал свой каблучок, никто никому не сигнализировал и никого не оскорблял ни словом, ни жестом. Когда я спросил, *ob er ein zentraler Kerl ist*, дескать, не центральной ли он пареня, Кемаль отшутился, мол, пареня он окраинный, только живет центрово:

– Nein, ich bin ja randständiger Kerl, der zentral wohnt!

Машину он загнал в подземный гараж метрах в трехстах-четырехстах от квартиры. Те последние метры показались мне душным и путаным лазом в охристой глине старых кирпичей к слепящему свету кротовины. В ресторан мы выдвинулись в девятом часу. Мне опять-таки виделось, что здешняя еда будет жирной и тяжелой. Не слишком дорогой. И

довольно простецкой. Всяческий кебаб, шашлык, имам-баялды, какие я и сам любил и отчасти умел готовить. Круглый каменный стол, посередине огонь, официант протирает поверхность, и ты вываливаешь туда то, что набрал сырым, поливаешь маслом, жарить и есть – потом служитель подкатывает к тебе Kärcher и начинает мыть столешницу разом с тобой, а ты выпрямляешься, пригибаешься, подставляешь подмышки: тут помойте, пожалуйста, – и продолжаешь есть.

Мы пропустили с десятков подобных заведений, ярких и многообещающих, где за несколько лир можно было получить тридцать три удовольствия, красиво распечатанных в строчку или в столбик, с соответствующими картинками, и вывешенных, невзирая на нехватку места, так, чтобы потенциальный едок имел возможность вдумчивого изучения рациона, пока не подошли к крайне неприметной двери и не поднялись по тесной крутой лестнице, вероятно, помнившей самого Ататюрка, в скромный черно-белый зал, где белыми были одни скатерти, и вскоре официант, такой же неприметный, как и само заведение, принялся уставлять приглянувшуюся нам скатерть всевозможными чашечками и блюдецками. Здесь было так локально, так несуетно и так далеко вообще от всего, что, разбавляя в крохотных высоких стаканчиках напиток, который я называл ракией, а он как-то иначе, однако похоже, и который густо белел при добавлении первых же капель воды, я спросил, рад ли Кемаль тому, что некогда его империя выпустила окраины из своих объятий... «Теперь это страна, которая состоит из лучших частей бывшего монстра...»

– Лучшее в интеллектуальном плане – это Балканы, – грустно резюмировал он.

– Ну и посмотри – где вы и где Балканы?

– Не знаю... одно могу сказать: Балканы – поблизости.

В блюдецках и колбочках, усеявших стол, все было такое маленькое и воздушное, что их содержимым можно было наслаждаться как цитатами. Ближе к утру, заказывая у неназойливого официанта последнюю порцию анисовки, Кемаль с большим удивлением обнаружил, что довольно бегло говорит по-турецки:

– Auf einmal merkte ich, dass ich ziemlich gut Türkisch spreche.

...Рот Одры, не помнящий ни одного языка, кажется нам черным. Глаза уставлены в потолок, словно в небо, откуда пышет невероятный жар. Внятно тикает остзейский ген самоуничтожения, наш паровоз вперед летит, стрелки манометра пляшут, но рельсы в городке давно разобраны в предвкушении безостановочной Rail Baltica.

Одра утверждала, что Одрой звали бабушку, а прадедушкой был английский комми из сигарного магазина – она ударяла на первый слог, хотя и подразумевала второй. Но ведь мог быть и первый? При этом она считала себя тайной еврейкой. Или причастной к еврейству, как когда. Оттого, наверное, красила седину в вызывающе жгучий черный цвет. Ее дед, говорила она, имел стену, целиком завешанную стенными часами. Откуда? Откуда после войны, имелось в виду, возьмется стена, полная часов?

Теперь я думаю – может, дед был тайным часовщиком?

Кемаля она знала по фотографиям, очень интеллигентный, я ей показывал пару раз. Всю нашу историю она знала: пьяный и обкурившийся, глядя на Босфор в ночное окно, я писал Руке письма, за которые наутро краснел, но, к счастью, было уже поздно отзываться их назад. Знала, но не считала это судьбой. Удачей, везением считала – но не судьбой. Когда мы рассорились, Одра сказала, что Рука не вернется. Я ехал к ней, на ходу трезвея, тысяча триста пятьдесят километров дорог, мелких и крупных, почти сутки, в сортире на автобане побрился, успел к утру; и – хоть не сразу – склеилось. Возле ее дома вновь захотелось в туалет, район приступал к бодрствованию, я съездил в лес, куда мы выбрасывали винные и водочные бутылки, и там отоссался.

Как это обычно бывает, стоит в глухой глуши свернуть на глушейший проселок, чтобы – чтобы... – тотчас появляется автомобиль, которому вынь да положь проехать этим проселком, и сигналит фарами. Так и сюда явился какой-то задрипанный опелина, которому в шесть утра срочно понадобилось отбомбиться стеклом по утилизационным контейнерам.

Дырка для белого стекла, для зеленого, коричневого, еще раз для белого. Куда девать черное? Black, black, go back.

«Не жди от близких, что они станут делать то, чего ты от них ожидаешь», – учила меня Одра. Раньше в любое время дня и почти в любое время утра и вечера я мог набрать ее номер и болтать с ней между делом, за рулем, ехалось сухо и доезжалось легко, такая в ней была доброжелательная сила, а теперь ползешь сквозь пространство, будто через вату: они заняли Зееловские высоты и не отступят, пока не добьются своего, или в один прекрасный день зенитные прожектора не лишат зрения их дигитальную машинерию. Вот еду, но нет тех разговоров с Одрой на трассе, когда она выслушивала мои монологи или делала вид, что слушает, вставляя впопад или невпопад свои реплики. Люди столбиками стоят перед кафе со стаканчиками кофе, потому что внутрь им нельзя; выглядит как древний придорожный обряд: машины, люди в праздничных одеждах, стаканчики с напитком в руках.

Красивый хутор на горе – может, купить? А зачем, когда нет правнуков, которым это нужно. Впереди граница, надо предъявлять тест, пора приготовить паспорт, он лежит в рюкзаке, не вынимай его раньше времени, говорю я себе, может, обойдется. Вообще: не вынимай раньше времени – ничего не вынимай.

Иду впритык за двумя фурами, они впритык и я впритык, неудобно, но куда деться, других легковых нет, прятаться не за кем. На белом торце ближней (и, как показывает закругление дороги, дальней тоже) пара ладоней держит слепленное из земли и говна сердечко, украшенное двумя парами зеленых лепестков. Надпись: Your plants in good hands.

Your pants in good hands.

Не вынимай раньше времени.

Когда Одра умерла, я не поехал на ее похороны, уже не пойму, что было истинной причиной, то ли расстояние, карантины, тесты, то ли умирала вовсе не она, а то, что от нее осталось после двух операций на головном мозге с облучением и химией. Зато я сочинил, по просьбе ближних, красивую речь, каковую пастор всех конфессий зачитал всем собравшимся над ямой, куда ближние собрались опустить ее бранные останки. Это была моя вторая речь для родственников Одры, первую я произнес на поминках по ее отцу. Лучшие поминки в моей жизни, вкусная еда из школьной столовой... После второй я решил: когда для непривитых повсеместно введут Berufsverbot, запретив работать где бы то ни было, я открою бизнес по написанию надгробных речей. Я мечтал об этом два дня, пока не увидел на фонарном столбе объявление о коте, ищущем хозяина: «Чарли (3,5 г.), кот милый и озорной, вакцинирован, кастрирован и проглистогонен, с другими котами ладит, собак боится. Тел...», – и не понял, что конкуренция в данной отрасли высока и без меня.

Смотрю на нас со стороны, по памяти.

Теннисный мячик, она не перестает тискать его непослушными пальцами.

– Как же мне это вернуть? – глядя на желтый трактор, ползущий за прудом и хорошо заметный среди еще не вполне зеленых деревьев, говорит Одра не то о своем стремительно ухудшающемся зрении, не то обо всей жизни в целом; о сладости майского ветра, о дыхании земли, о бликах на воде, о тракторе; о свободе передвижения – о, черт возьми, свободе: – Мне нечему больше довериться, остался один вариант мячика...

Кемаль открыл правый верхний ящик письменного стола, где в полной пустоте лежали две готовые самокрутки, мы подошли к окну и курили, глядя в ночной Босфор, где два корабля пытались вылавировать, ободряя или осуждая друг друга гудками, а может, это было следующим днем или вечером или утром, а мы смотрели не на воду, а на купола мечетей или на тесные улицы, тонущие в дымке улиц просторных.

Их улицы: поднимаешься по одной такой и в створе ее видишь стул, на котором сидит женщина, то есть там, наверху, кафе, но его не видно, потому что всё под углом, и стол не виден, только сидящая за ним женщина в черной майке, одно плечо обнажено, ты

идешь и видишь стул, одно черное плечо, одно голое плечо, и уже потом – остальное: кафе, официантов, еду... Вот так и здесь, сейчас – видишь снег, ветер и снег, снег в створе улицы. Рука в вязаной шапочке в интернет-кафе, потому что ей некуда пойти, чтобы поговорить, снег засыпал дороги, это было потом, после, хотя что значит «после» в обратной перспективе? Если смотреть назад, это будет «до», сначала еда, официанты, стол, стул, женщина в черном и улица, бегущая или ползущая вниз, в створе которой тебя уже нет. Или никогда не было.

Генуэзская башня парила над кварталом, где обитал Кемаль, город был рыжим и голубым. Рыжеватые волосы Руки, чьи первые обращенные ко мне слова я услышал две недели тому назад, а последние – неделю назад, на затрапезном автовокзале, вдруг вспомнились. Все прощались со всеми, только уже в новой комбинации: она и остальные. На другой день Кемаль получил с посылным приглашение на свадьбу своей бывшей подруги и заплакал. Очень красивый конверт, в нем еще один, я подумал – не хватает лишь прядки волос в отдельном, третьем конвертике. Истанбул бьююк.

Шестикрылый серафим следит за мной взглядом, я плачу и не могу сойти с места минут сорок, периодически вспоминая, как не хотел идти внутрь, сорок лир, более десяти евро, радуюсь, что лиры мои не пропали даром, и смеюсь, и снова плачу. Я знаю, что гигантский купол – это корабль инопланетян, им хорошо жилось на этих берегах, вкусно елось и сладко пилось, и спалось тоже сладко, а потом стало тесно, и они улетели на маленьких корабликах, потому что этот им нечем было заправить. Они, возможно, никуда не долетели, а он остался здесь напоминанием о чем-то таком там, у них, о чем-то, что не здесь, ведь ничего такого здесь не было и быть не могло, но он напоминал не о там, а о том, что здесь – не там, и тому, кто прилетел, рано или поздно придется улетать, о том, что все, даже инопланетяне, инфицированы расставанием. Нет, не зря я расстался тогда с сорока лирами, сейчас-то мне туда точно не попасть.

Вечером мы снова двинулись в ресторан, куда пришла девушка, слегка похожая на ту, что звала Кемалю на свою свадьбу, только попроще, без той тонкости профиля и силуэта, а когда мы вернулись, он вынес из спальни футляр, достал из него электрогитару и сказал, что до сих пор думает о покойной Эми Вайнхауз, он предложил гитару мне, я отказался, и он уселся в кресле, извлек из нее какие-то минорные звуки, затем положил гитару на стол и предложил девушку мне, но я отказался, не помню, что за письмо я написал Руке, наверняка в нем были гудки Босфора и плач Кемалю по черному ангелу, Эми Вайнхауз, а может, вообще ничего, кроме поезда с безумным машинистом, которого тогда еще не было в проекте, а ныне он несется на всех парах, и Кемалю не сойти, не выйти, очень интеллигентный, но это судьба. Black, black, black, I go back.

Она вернулась от папы, привезла шампанское Rotkäppchen. Смотрю со стороны...

Сидят, пьют, он – голодный, закусывает нарезанной ломтиками икрой трески из русского магазина. Болтает, раздражая ее.

– В фильмах про Джеймса Бонда обязательно есть момент, когда в звездном отеле он звонит портю и заказывает «Дом Периньон» не помню какого года и икры на двоих (черной, у англичан же caviar – это только черная икра)... Если бы сняли фильм со мной в главной роли, я мог бы звонить соседке снизу и говорить в трубку: бутылку «Красной Шапочки» и банку тресковой икры...

– Завтра я стираю темное. У тебя много темного? Положи сейчас, утром можешь не успеть.

Он может не успеть. Конечно.

Вещи и люди меняются местами, не меняясь в целом. Еще наблюдаются порой мелкие сдвиги. Что ж, отлично – некая новизна. Немного новых запахов, несколько новых звуков. Вальс «Трупные волны». Корона-сны в ожидании результатов теста. Духи «Запах локдауна». Случаются и крупные сдвиги, но кажется, что это не сдвиги, а расслоения,

вдохи-выдохи пространства, жабры разводят уровни и плоскости наших жизней словно мосты, всё плавно, влажно, липко и как-нибудь склеится обратно. Хотя будет поздно.

Одры нет, Кемаль далеко. Рыбачий недостижим. Носим их в своей памяти, ее прибой омывает косу сознания от начала и до конца, с обеих сторон – с одной стороны море, с другой пролив, легко потерять ориентацию и запутаться: что слева, что справа? Особенно когда туман.

И вот мы развешиваем белье, каждый по-своему, Рука вешает носки на поперечные прутья и закрепляет их прищепками, я – на продольные, между двух футболок, иных уж нет, ну а те далече, как сказал поэт, как он, сука, точно сказал.

МОЯ ПЕРВАЯ ГЕРМАНИЯ

*Land er heilagt,
er ek liggja sé
ásum ok álfum nær...²
Grímnismál*

Лето

Люди часто начинают так: в первый раз я приехал в Рио в таком-то году. На улицах курился запах ди-джао, из борделей доносились смуглые крики. Я тоже бы начал: впервые я посетил Германию в 1989 году. Почему именно в восемьдесят девятом? Да потому, что века – осенью рухнула Стена.

Но нет, в этом году я только родился. И уж точно не мог посетить эту страну. Моя река детства – Dźwina, не Rhein. Так может, первая Германия случилась со мной тогда, когда мы, тысячи немцев, поляков, евреев, русских, эфиопов и еще черт знает кого стояли на коленях перед Рейхстагом в протесте на произвол местной Думы, доказывая полиции и водометам, что мы здесь с мирными целями, хоть и без масок, и пели гимн Германии? Нет, не моя тема. Наверное, приснилось. Или рассказал кто.

Я слышал немало рассказов о ней. Трогательных и смешных. Проникновенных и таких печальных. Злых не слышал. Папа говорил, даже в советских книжках о войне никто не писал о ней со злобой, а казалось бы. Сейчас вам не тогда, говорю я. Чем дальше в лес, тем толще партизаны, говорит папа.

Вообще-то я еще ни разу не был в Германии. В Силезии бывал, Богемию повидал, кантон Санкт-Галлен также посетил, а Гермундию вот фактически не довелось. В Австрии я был на самой границе с Гермундией, так близко, что немцы ходили сюда работать. Я, собственно, тоже хотел там заработать, тягал в металлоцеху швеллеры и двутавры. Со мной работали и русские, то есть немцы из Казахстана. «У», – говорили они. И: «Допль-Тэ». Тяжко это было, за день несколько тонн приподнять и опустить, но легче, чем на сырной фабрике, где приходилось по многу часов сгибаться, чтобы переставить ящики с сыром. Но главное – вечерами из этого нашего ошвенцима отпускали домой, а на фабрике мы жили в общежитии. Квартирная хозяйка у меня была отличная, по утрам выставляла тарелочку с едой. Паштетик неплохой; все, что с печенью связано, было очень неплохим. Зато рыбы вообще не было.

На праздник для рабочих, «бетрибсфест», я страшно напился. В сисю. Я напился оттого, что никто не хотел больше пить. Я выпил все пиво и всю водку, я споил всех – давай по чуть-чуть? Давай еще? Огромные казахи отваливали после нескольких рюмок. Там была

² *Край тот священ, простерт предо мной от богов до эльфов...* Старшая Эдда, «Слово Гримнира»

офигительная официантка, старая, лет пятидесяти пяти, худая, с тихой улыбкой; ее звали Надя, тоже немка – она сидела себе, но стоило сказать: Надя, еще чуть водочки, и она сразу вскакивала и улыбалась, пожалуйста-пожалуйста... я балдею от немок по имени Надя или Таня, ты знаешь, спросил меня Лето, когда я рассказывал ему эту хрень, есть такая Катя Ланге-Мюллер, по-моему, она совсем старуха, сказал я, но когда я слышу Катя Ланге-Мюллер, я сразу готов кончить. Там было несколько хороших, но я так нажрался и приставал к ним, что теперь стыдно. Потом я был у одного коллеги, у другого, потом меня выгнали из какого-то бара, потому что я обоссал чью-то машину – «деточка, – сказал я, – мне делать больше нечего, вот только ссать кому-то на машину», – потом проснулся дома, совершенно голый, с бабками в карманах, рядом лежали джинсы, которые я купил накануне, и в карманах были бабки, а еще полно маленьких бутылочек ликера, чтобы я мог опохмелиться, потом заснуть и опохмелиться снова, но интереснее всего то, что в карманах были бабки – больше, чем было до того, может быть, ты оказывал кому-то услуги сексуального характера, спросил меня Лето, нет, но я испугался, что зашел по пути в бордель, я каждый день боялся, что зайду в бордель, он ведь стоит у меня на пути, и я всегда боялся, до сегодняшнего дня, что зайду в него и всё оставлю, а я очень не люблю бордели и не хочу туда, но сегодня мне сказали, что он давно закрыт – «как, – говорю я, – и днем и ночью свет горит!» – «так там игральные автоматы», – слушай, решил Лето, ну прямо братья Гримм какие-то получают, мальчик целое детство боится проходить мимо одного дома, считая, что там живет ведьма и она заберет его и съест, а потом вырастает и узнает, что ведьма давно переехала, а в доме открыт бордель...

Я знаю Лето много лет, он как старший брат мне, но не брат, и я могу его видеть как бы с краю, извне, он в меру хитер, в меру наивен, безрассуден в меру, в меру трусоват, прежде жизнь была загадочна, непрозрачна, любит рассуждать он, выпивши, можно было познакомиться с девушкой, спросив у нее дорогу, теперь навигация в телефонах у всех, прежде можно было подбросить девушку домой, когда ушел последний поезд метро, за время пути отговорив от оплаты проезда и убедив на ночную чашку чая, а теперь Убер, он боится припоздняющихся девушек от щекотливых ситуаций, наверняка следующие поколения разработали новые тактики, никаких тактик, говорю я, все то же самое, он не верит, соцсети заменили метро в качестве площадки для знакомств, соцсетям не страшны маски и пока что не нужны коды, правда, лишь до поры до времени, а со временем все может вернуться на круги своя, к провожанию до дверей квартиры с ломом по подворотням и стрельнию монеток на ближайший работающий таксофон, за подаренную монетку разрешалось чмокнуть хорошенькой девушке ручку, ну и – так далее.

Бывает, город, человек, страна открываются с неожиданной стороны, и ты можешь сказать, что вот теперь-то встретился с ними по-настоящему. А можешь и не встретиться. Когда я поехал на работу в Голландию, меня отымели, никакой работы не было, я пришел к тому парню, который должен был дать мне работу, литовцу с русским именем, у него была огромная нижняя губа, косяк попросту тонул в этой губе, он держал его своей губой, как тюлень ластой держит рыбу, он предложил мне травы, но я охренел, узнав цену, не нравится – ищи дешевых развлечений, сказал он, я еще неделю ждал работы, спал в машине, он предлагал мне койку, но я не мог спать там, только сидя в своей машине я чувствовал себя в безопасности, потому я так люблю ее, эту машину, мы пережили вместе те ночи и те дни, но я так и не встретил Голландию.

Встретил ли я Лето по-настоящему? Какой мой первый Лето? Когда мне было пятнадцать лет, я должен был писать реферат про «Войну и мир», Толстого еще изучали в школах, я слез с чердака (правильнее: мансарды), где я ночевал, в комнату, где Лето сидел и пил с моими родителями, и уговорил папу спросить у Лето совета. «Это говно, война и мир, – сказал Лето, – у Толстого всё говно, кроме рассказов и Хаджи Мурата». Помню, как рассердился мой папа, нет, он просто обиделся, потому что не мог сердиться на Лето, или нет, он, наверное, просто огорчился, а для меня весь мир рухнул и заново собрался из кусочков, и я стал жить в нем, а когда мне было двадцать, Лето сказал, что это великая

книга, но мой новый мир устоял. Я помню, он явился и остановился у моих родителей, я тоже приехал, мы пошли к одному парню, староверу, он пил у своих родных, он звал нас внутрь, выпить вместе, но мы отказались, хотелось видеть, как узко петляет под обрывами Двина, тогда он вывел кучку каких-то детей, своих родственников, и предложил нам сыграть в футбол прямо здесь, у забора, мы стали играть, было весело, ведь все мы были пьяные, но один из нас упал и разбил колено о камень, и мы пошли к другому, и чья-то то ли мать, то ли теща бинтовала эту коленку, смазав ее предварительно зеленкой – чью? – убей не помню, но именно эта коленка и стала одним из моих первых Лето.

Так вот, эти двое: Лето и его подруга Рука. Следовало бы написать иначе: Рука и ее друг Лето, потому что именно так они выглядят со стороны. Рука знает русский язык. Ее бабушку убил из автомата русский солдат, она ехала мимо на велосипеде, тот крикнул ей «Стой!», а она не поняла, и он ее застрелил. Поэтому Рука пошла учить русский, чтобы ее не убили, когда она поедет по России на велосипеде. Такова легенда, и Рука, выпив немного, рассуждала, как странно, мол, зачем и куда отправилась бабушка на велосипеде, оставив в доме маленькую маму одну, потому что дедушки дома не было, дедушка был тертый калач и никуда бы бабушку не пустил, да и как можно не понять «стой», если оно звучит почти как «стоп», в общем, она все равно выучила русский и говорила на нем так, что казалось – она дух какого-то древнего языка, из которого потом русский вылутился как цыпленок из яйца, ей были по барабану склонения и падежи, она зрела в корень, и говорила в корень, глубоким грудным голосом, особенно ей удавались матерные слова, мы с Лето решили однажды, что надо записать целый диск, на котором она повторяла бы ровно одно слово: «Нахуй!» Нахуй – и всё. С этим ее неповторимым выговором – нахуй, нахуй, нахуй.

Лето – наполовину еврей, польский еврей, и она как бы оберегала его от тех, кого, по ее мнению, Лето мог подозревать в том, что они подозревают его. Литовцы, – заверяла она, – с радостью уничтожали евреев, абсолютно, они же католики, а евреи ведь в конце концов распяли Иисуса. Наверняка это Лето приехал в Германию в восемьдесят девятом году. Ну да, он же рассказывал мне про киви, из-за которого и упала Стена, потому что восточные немцы не могли купить киви, хотя очень хотели, а из-за Стены их манили киви и фольксвагенами, он попросил показать ему киви, и под самый конец обеда, когда хозяйка убрала посуду, хозяин разгладил скатерть и торжественно выложил на нее четыре зеленых и волосатых уродливых яблочка. И про западное пиво в серебряном фольговом капюшоне, носившее имя княжеской династии, о которой Лето читал у главного немецкого писателя Фейхтвангера, и про пиво ЕКУ, которое он, подвинутый на четырех мушкетерах, называл «эку», и про восточное пиво, продававшееся в полицейском участке: из дверей выходили мужчины с авоськами пива, а он все никак не решался войти – из-за вывески, пока один мужчина не пригласил его внутрь, сделав жест рукой и сказав «херайн», – и про проверку документов русским патрулем, и как после он гадал, почему их вычислили на людной улице, – народную полицию тогда называли «ФоПо», – рассказывал Лето, помешанный на том периоде времени, – Volkspolizei, полицией народа, она сама себя считала таковой, Polizei des Volkes, будучи на самом деле des Volkes Polizei, полицией – народу, страшное слово VoPo, тогда вам не сейчас. Чем дальше в лес, тем толще полицаи, говорю я. А слово страшное, но как-то не слишком. «По» вообще переводится как попа, немцы этой попы не слышат, как русские не слышат гноя в слове «перегной», а ведь они есть там, и попа, и гной, мы, латыши, слышим. Я сказал – латыши? Я не латыш, я – латгалец. Я это сказал? Я не латгалец, я поляк. А главный мой язык – русский.

Гораздо красивее – «нагва»... только не все русские это слышат.

Лето, кстати, уже за полвека давно, щетина у него седая стала, а всю фольгу немцы с бутылок снимали. Еще недавно она украшала разве что пиво «плезеньское», блеском своим – когда попадалась на глаза, – заставляя задуматься, как такую мыльную мочу могли в СССР считать высшим сортом пива? Или чехи тоже были другими?

Рука

Табличка у Gutsark: «хиир варен Deutschland und Europe бис когда-нибудь geteilt», здесь с 1945 Германия и Европа были разделены... Такая эйфория была, сегодня смешно читать. Им казалось, что никогда больше, а сейчас ясно, что поделят и переделают. Что все только начинается, и быть может все что угодно... Освенцим тоже.

Когда я в первый и последний раз поехал в Освенцим, то именно в Освенцим, а не в Аушвиц, я должен был встретить там одного человека и передать ему письмо от папы, но приехал пораньше и пошел в музей, что-то со мной случилось, я плакал, я рыдал, но не мог выйти оттуда, а тот человек звонил папе, он был чуть ли не бургомистром Освенцима, он ждал... Кто же говорил вот такое? Один специалист по евреям (и он их чувствовал, да!) говорил, что те – толстокожие, гораздо более толстокожие, чем, скажем, немцы. Немцы ранимые, немцы одинокие, они трагичные, а евреи – просто евреи, их ничто не может по-настоящему ранить, несмотря на всяческие причитания. Их даже смерть в массовом масштабе особо-то не пугает, иначе с чего бы они лезли в эти свои газовые камеры? Он говорил, что эротическая мечта нормального еврея (уточню – современного) – переспать с настоящей эсэсовкой, белокурой голубоглазой сучкой при полном параде и в сапогах. Оттого-то евреи – лучшие исполнители немецкой музыки, как это ни смешно и как это ни печально. Золотые слова. Наверное, Достоевского. Не Толстого же!

– Ну что ты привязался, – ворчит Лето, – к незначительному эпизоду. Мое мнение, что кто-то пишет говно, ничего не значит. Я же не тест-полоска, не могу утверждать: раз я не в состоянии прочитать какого-нибудь там Зоебальда, он не писатель.

– Да будь ты хоть тестом-полоской, ты мог бы быть ошибочным.

– Верно! Только лечащий врач может констатировать подобные вещи, – говорит Лето, – но ни Зайбальду, ни кому-то там еще лечащий врач давно не нужен, разве что санитар и палата номер шесть...

Я не спрашивал у Лето, чьи это слова, не искал в интернете, боялся, что не найду, и тогда, выходит, слова мои, я ведь специалист, чувствую, и про сексуальные мечты много знаю, и про музыку.

Спрашивал – не о том.

– Ответов нет, поскольку нет и вопросов. Зачем вопросы, когда и так все ясно, все кошмарно и охренительно одновременно, просто надо как можно быстрее выпить. Почему есть нормальные завязавшие наркоманы, но завязавшие алкоголики нормальными не бывают? Потому как наркотик творит насилие над людьми, а алкоголь делает с людьми любовь. Освобождаясь от наркотика, люди запирают насильников в тюрьму, а расставаясь с алкоголем, люди теряют любимых, и раны их болят всю жизнь.

Такая была эйфория, почище, чем от алкоголя.

Рука рассказывала. Пару раз. Три. Каждое «р-р-р» у нее как карамелька, снаружи твердо, а раскусишь – жидко, но раскусывать не обязательно, катай под языком, пока не рассосется оболочка и желе само не вытечет.

Она слегка зациклена на театре, ее отец в оперетте играл музыку. – Пока у главного драматурга с восточной стороны от Стены, – рассказывала, – у вечно пьяного Мюллера Хайнера было тревожное ощущение, что играется театр, захваченный реальностью, что ставится увольнение от государства, которого больше не существует, актеры и балерины продолжали вполне реально существовать на их оптимистических демонстрациях. – За ними она наблюдала, глядя в телевизор, стоявший у одной четы, тоже сбежавшей из ГДР, в гостиной, в Грюневальде, где, будучи новоиспеченной студенткой, снимала каморку в цокольном этаже. – Муж хозяйки был учитель, в тот год он делал себе Sabbatical, седьмой год свободы, путешествовал где-то, и мы с хозяйкой были все время вдвоем. В ноябре каждый день мы смотрели новости. Уже с августа люди бежали через посольства ФРГ в Праге и Будапеште, просто оккупировали их и требовали впустить. Девятого ноября мы решили, что ничего не будет, я пошла спать, но вдруг позвонила дочь хозяйки, сказала,

включайте, начинается. Я в ночной рубашке, а в телевизоре люди без препятствий переходят границу. Шабовский – до сих пор непонятно, то ли неправильно прочитал свою бумажку, у пограничников не было приказа, сначала они еще ставили штамп в паспорт, я говорю, хорошо бы быть там, хозяйка была предприимчивой, мы взяли бутылку шампанского и на ее машине поехали к переходу в Wedding, где мост, люди уже на Западе, обнимаются, пьют шампанское, говорю хозяйке, может, я к отцу, и начинаю спрашивать, можно ли на ту сторону, было страшновато, но мы решились и пошли, ночь в Восточном Берлине, час ночи почти, редкие фонари, пусто. Вдруг машина, едет машина по Шёнхаузераллее, я останавливаю, в ней мужик, ему, наверное, надо было не совсем туда, но он спокойно повез нас к адресу отца, адрес знала из почты... Все открыто, мы на этаж. Также в пижаме, открывает, ошарашен, уже тоже лег, потому что думал, в тот вечер ничего уже не будет, а я стою с хозяйкой... – И вот они едут на его «Вартбурге» обратно к этому всеобщему веселью у моста, он переходит мост вместе с Рукой, молчит, не плачет, а молчит, в последний раз он переходил его более двадцати пяти лет назад, чтобы в кино посмотреть «Бен-Гур». Хозяйка Руки долго возит его по Курфюрстендамм, даже в таких местах везде огни и празднуют всюду, цветочные магазины открыты посреди ночи, ярко и красочно, шумно и радостно, но отец молчит, и они возвращают его к мосту, где на другой стороне его ждет его Wartburg. – Помню, затем поляки в гигантских очередях в ALDI, как вы сейчас в «Лидль», пролагали товарные маршруты, восточные немцы, кто поумнее, катались по Западу, их осыпали подарками, клали деньги на стекло, дарили хлеб, еду, это потом снова наступил раскол, хотя были и на Западе люди, которые не хотели, были в шоке, и теперь многие с восточным прошлым говорят, лучше бы этого не было, сын Греты кончил консерваторию и в ГДР был бы музыкантом, а сейчас работает каким-то техником и только ночью играет в каких-то барах...

Я слышал также, что русским, оказавшимся в тот день в Берлине, советовали держаться подальше от толп, вообще никуда не ходить, потому что могут побить. До этого момента вас терпели, потому что вы побили немцев, которых все остальные хотели побить, только не могли. А с этого момента всем хотелось бить русских, потому что тоже достали, хуже немцев, потому что дольше, хоть и не так кроваво, поэтому теперь все обожают украинцев, они ведь хоть немного, но убивают русских, которых все остальные хотели поубить, но так и не смогли.

Еще я читал выступление Адольфа Гитлера в «Кроль-опере» 1 сентября 1939 года. В нашей центральной газете оно появилось где-то на шестой странице, сокращенно. Все отсканировано и есть в сети, читаешь – и кажется, кто-то твердит тебе: война, мир – говно. Там он ясно дал понять, мол, нейтральные страны нейтральны, пока он лично считает их нейтральными. Я думал, не правильно ли поступал Сталин, вводя войска в Прибалтику – недолго же нам было оставаться нейтральными! Думал в тот момент: раз я, здоровый, то есть нейтральный по отношению к вирусу человек, представляю потенциальную опасность для общества и должен быть немедленно изолирован, бустеризован либо помещен в скотский вагон, то Сталин спас и общество, и Балтию: ведь заразись мы вирусом фашизма до того, как Сталин нас вакцинировал, то к концу войны нас раскатали бы за милую душу в плоский нуль, и VEF уже никогда, никогда бы не выпустил никакой «Спидолы»... Я это думаю? Нет, разве я могу так думать! Так думает Лето. Это не моя тема. Моя: Spīdola до сих пор ловит ультракороткие волны.

Стена обязательно должна была упасть. Но до этого она обязательно должна была подняться. Поднялся – упал, только так.

...После Betriebsfest я все-таки съездил в Мюнхен. От тоски. Моя маленькая Трина нашла себе в Мюнхене парня. Его зовут Лео, его отец архитектор в Штутгарте, и сам он тоже архитектор, учится, скоро все сдаст и станет архитектором. Она искала комнату и нашла у него. Сняла, ну и все случилось, теперь живут как бы вместе. Он ее любит, а ей по фигу. – «...Ну зайка, откуда же мне знать?!» – У нее всё через жопу, папашка получил наследство, землю, коров, теперь бухает и трахает всех в округе, бьет мать, ее тоже бил, она

рассказывала. Она мне такое рассказывает, что никому не расскажет, я ей ближе самого близкого друга (ну, было у нас что-то когда-то, она ко мне приезжала, но не в этом дело). Говорит – это ерунда, что мы, женщины, ищем одного самого-самого, ей постоянно хочется с разными, и мы пошли в бар, я взял с собой пакеты (а я закупились там, ботиночки купил теплые, штаны – всё по акциям, по дешевке), она говорит – останься в моей комнате, а мне домой надо, обещал вернуться, взял пакеты с собой, сидим в баре, бухаем – и тут этот Лео приходит. С другом. Смешной такой шваб – нет, нормальный, красивый даже, архитектор будущий, всё у него в порядке, но сел за отдельный столик, обижается, типа. А мы пьем, ржем, над ним смеемся, она меня хватает, целует, хочет меня – пьяная совсем, – а мне на поезд надо. Наконец Лео подходит, здоровается, смотрит на сумки – что, говорит, удачные покупки? Сейчас везде скидки – мол, дешево взял, хрень всякую, а мы смеемся... Наконец пошли меня провожать, на вокзал – до поезда час целый, стоим, она на мне виснет, пошли, говорит, ко мне, в мою комнату, – и тут за три минуты до поезда я вспоминаю, что не купил билета. Надо бежать наверх, к автомату, а он не хочет брать мои деньги, я в него сую и пять, и десять, и пятьдесят – а он только выплевывает их обратно, ему по фигу, тоже смеется. Ушел поезд, пошли мы к ней в комнату, уложила она меня... а потом к нему ушла. Я раненько, пока все спали, встал и уехал домой.

В общем, съездил я в Мюнхен. Больше, выше, правее, левее. Время ветра. Время волка. See. Der See, sagt die Seherin. Wolfzeit, Windzeit. О. Озеро. Зоркая зорит. Час-ветр, час-волк. Возможно, я родился в Германии столько-то веков назад. Возможно, она даже хранит меня в своей памяти – памяти улья. Возможно, в этой памяти есть даже что-нибудь материнское: теплота, забота, привязанность. Сегодня ее уносит куда-то. Боюсь, я с ней так и не встречаюсь.

STRANGERS IN THE БАРЛИНЕК

Oh, show us the way...
Bertolt Brecht³

– У меня для тебя плохая новость – этот столовый тоже закрыт. Где ты не хотел, чтобы я положила тебе что-нибудь на тарелку.

– Не могли ее закрыть. Всегда закрывают лишь те места, где нам было хорошо. А в том мы ссорились. Вспомни! Наверное, временно.

– Да нет, постоянно. Уже и окна белилами помалевывают. Еще галочка в список.

Что творится (может твориться) в голове у Лето, пока он ищет, где бы обделать ряд незначимых делишек, без которых ему, однако, не продвинуться дальше по избранному маршруту (в принципе, продвинуться, но так и без любых дел обойдешься, надел лапти, пошел – и никаких но): два уродца ходят и закрывают подряд все заведения, что им приглянулись; она говорит, даже в той жопе мира, где случайным образом они поели пероги, закрылось то кафе на развилке – устроили аудит перед объявлением банкротства, два, мать их, иеремии – так? – более-менее – sold! – и просит найти городок в мапах гугл через скайп, ищи вокруг Кюстрина, говорит она, Костшина, поправляет он, а что там, всё, что там вечно, рынок, церковь, «хата польска», дорогу знает Тина, но ей нельзя позвонить, сама дорогу не помнит, потому что спорили, как ехать, в результате Мария слушала то одну, то другую, в прошлый раз ехали вообще по полю, зато купила курицу и колбасу, присылает ему фото колбасы, и вот эти сосиски, а как ты их нашла, ну так, они захотели, чтобы я их нашла, и явились сами собой, мы знаем, что нас ищут, а еще там «Боровка» – «Боровка»

³ О, покажи нам путь... Бертольт Брехт

там? – такая противная, что не хочется даже искать, как же ее – Слоньск? – нет, я бы запомнила – слон, – думаешь, это от слона? – нет, но так легче помнить.

Показывает ему на экране яблочный пирог.

Великопольский? Любушский?! Западно-поморский!

А я бы мог показать голову Лето в виде диалога, как записывают алгоритмы в виде команд, невнятных непосвященным, поскольку в ней, пока он ищет, как бы залатить свои sprawy, проскакивают – в обоих направлениях – реплики вроде:

– Не так уж болезненно не как в прошлый раз бар на малом рынке куда помнишь мужик зашел с контрабасом а сортир в подворотне рядом где секс-шоп или кантор?

– Кантор, наверное... Слишком светло было – для секс-шопа.

– Теперь в нем керамику продают горшки из бунцлау удобно и не ходи никуда!

Едва ли он отдает себе отчет в настоящем обмене репликами, приграничный ритуал занимает его голову почти целиком, граница есть граница, и сейчас, когда границы якобы отменены, рубеж стал еще опаснее: хоронится в жухлой пограничной траве, ожидая в тени несуществующего шлагбаума, и всегда готов сигануть оттуда – в виде патруля или блока бетонного, к примеру. Все эти годы Лето подозревал, что рубежи никуда не делись, а призрак свободы – действительно призрак; те, кто утверждает обратное, – суть биороботы, хотя концепция биороботов поселилась в его мозгах значительно позже. Надо постоянно быть начеку, чтобы не сплеховать, когда начнется, пусть некоторые и говорят, что уже началось... Пирог дает трезвящий эффект, Лето выныривает из параллельной реальности, выпадая из нее в окрестности города, который он якобы только что искал на гугл-мапсе вместе с Рукой, которая в данный момент находится у себя дома, и которой, похоже, пора проснуться. Эффект отмычки, отпирающей чужую страну.

– Дамочка одна вчера... – сказал он, придерживая телефон ухом. – Нет, не знакома, а сегодня всем нам смс-ка пришла, сама понимаешь, какая... Им-то хны, они переболели только что, до единого...

– Ерунда, мы вчера кислую капусту ели, это знаешь какое средство! У нас с тобой крепейший иммунитет, я тебе еще защиту дала. Забей – просто забей. Ничего не будет.

Лето стоит в кабинке туалета, куда попадают через двери обменника, и пялится на блестящий постер, наклеенный на стену над стульчаком. Изображает он облака – не очень белые облака на не очень голубом небе. В небе тонким черным фломастером, польскими словами, но как-то скомканно и не слишком грамотно написано: ебай русию и скурвиного сына. «Какую русию предлагается ебайть?» – думает Лето. Верняк Червонную, с которой явились сюда знаменитые «русские пироги», что вовсе не русские и уж совсем не пироги, а обычные вареники, только при шкварках. Тем более что ее давно уже ебоят, показательно зачеркивая на ценниках слово *ruskie* и добавляя *ukraińskie*.

Чуть ниже на облаках печатными буквами корректно призывалось «ебать тех курв партийной платформы». Еще ниже другая рука начертала кириллицей: «Помнишь! Братья Словяне!» А поверху через всю синеву некто процарапал по картону огромную, но оттого не менее бесцветную, а в силу этого загадочную надпись – BARLINEK.

Называлось – держать след. Собственный след. Долгий склад без крыши, белые бетонные сваи ребрами ископаемого ихтиозавра, ихтиозавтра, сказала Рука, хутор, крыша из красной металлочерепицы, по ней – черной металлочерепицей – нечитаемые каракули, белковая черная икра на белковой красной, забор, поворот и объявление о рейв-вечеринке в доме культуры Мюнхеберга; следующий поворот и следующее объявление, йоу, круто, пускай себе порейвят в доме культуры; четыре дня назад все было точно так же, дорогу он узнавал с острой радостью, хоть прежде уже проезжал ее раз сто или двести; так узнаешь в толпе человека, с которым давеча познакомился на тусовке.

С десятков раз точно. С пяток.

Хотя нет: многое изменилось – с тех пор. Позапозапозавчера была цапля на поле за «Четырьмя липами», сегодня нет цапли. Перед границей полагалось повторять: я невидим,

я невидим, я невидим, я невидим; едешь и твердишь – *эсму передзамс esmi neredzams ux bin unzichtbar ich bin unsichtbar*, – и таким образом поднимаешь занавес между сознанием и подсознанием, перемещаешься одновременно в смежных мирах, там пересекая смежную границу, пока здесь кто-то встает на досмотр, сканирование кодов и, возможно, штраф и кое-что похуже. Хотя что именно на сегодня значит «хуже»?

Зато можно ехать молча, кордоны отменены.

Сегодня Лето моет руки, вытирает их насухо серыми пупырчатыми салфетками и ощупывает лоб и виски, вспоминая, как вчера провел рукой в районе правой брови, будто сгоняя муху, и ощутил боль, вроде электрического разряда во лбу, за бровью, но больше разряд не повторялся, как он ни тыкал в себя подушечками пальцев, как ни простукивал костяшками. Однако боль догнала, обволокла голову медузой, игольчатые лапы всосались в мозг, спрут с пузырьчатой головкой душит щупальцами, режет глаза, во рту пересохло. А запахи еще чувствуются. Капуста.

Лето упорно пытается представить себе себя в один из тех десяти, даже пяти пусть раз, он не уверен в своей попытке, ведь с некоторых пор он стал невидимым. И не имеет словарного запаса, чтобы с его помощью вспоминать. Две булки с котлетой в середине, завернутые в фольгу, и один кофе из автомата на ВР между Вартой и Одером. Лето помыл машину на мойке самообслуживания и ждал, пока деминерализованная водичка стечет с нее в землю, удобренную гектолитрами крови самых разных народов. Крови в этой земле столько, что невозможно вообразить; она, само собой, зовет, но зов ее растворен в зове ночных полей, лесов, трасс и морей смерти, плещущих вдоль межей, опушек и обочин. Разливанных, надо сказать, морей.

Было зябко, кофе обжигал, а через несколько минут нужно будет было (сложное будущее время!) выбрать путь и думать о ночлеге, что в течение двух булок и двух котлет не казалось жизненно важным, заправки же вокруг сияли, как межпланетные аэродромы. Кофе не обжигает, обжигает огонь. Что тогда делает кофе? Жжется – как крапива. Вправо пойдешь – в Слоньск попадешь: на Ландсберг, на Крону Немецкую, на Шлохау. Прямо пойдешь – в Фитц попадешь, в Витницу, разливающую любушский лагерь в пузастенькие бутылочки; из Фитца лесным трактом на Гожув, он же Ландсберг; на Валч, он же Крона; на Члухов. Влево пойдешь – и пропадешь: Берлинхен. Миннхен, Миннхен, поехали в Берлинхен! А что там, Аннхен? Там Курфюрстендамхен. Однако без гарантий. Котлета – да, а в остальном: прошло сто или даже двести лет. Шлоппе у нас – Члопа, Берлинчик теперь Барлинек, Померания стала Поморьем. «Ну так, – взвешивает он, – не вернуть ли обратно и Кресы, ебать тех курв?»

Всё в языке, всё в мозгу, вирус тоже, октопус болевой, стоит изгнать его из головы, как он покинет и тело, но нет языка, чтобы его заклясть, языки больны, в них прячется невменяемость. Держи след! Связь неисповедима и неотвратима. Чем чаще туда-обратно, вчера с кем-то, завтра без никого, тем летальнее для дороги делаешься сам: для путевых точек, граничных переходов – словно ты, пройдя маршрутами взад и вперед, кого-то взяв, кого-то оставив, привнося одно, удаляя другое, получаешь право их, маршруты, стирать.

– В них прячется невменяемость, – говорит Лето, Рука смеется, можно сказать, ржет. Смеется крайне заразительно, оттого Лето охотно пересказывает ей что угодно, любую чушь, лишь бы смеялась:

– ...Вижу, воспринимает меня философски, абстрактный цинизм ее не смущает, и вдруг – история! Оказывается, министр наш писал в твиттер, что во время его последнего визита в Киев, в смысле, после того визита, когда самолет уже взлетел, видимость была прекрасной, и он типа сделал то, чего никогда не делал раньше – сфоткал город внизу. Будто бы знал, что видит его таким в последний раз. И должен был его зафиксировать. Иеремия херов... Помнишь? Сон Иеремии? Должна же ж, ведь ты церковная была.

– Я давно была церковная... теперь меня от церкви тошнит. Не помню я сна.

– И я вот – нет. А – был. И плач был, плач помню. Телефон! ...*Одинок* сидит город ...*многолюдный* ...*стал как вдова*. Был должен зафиксировать. Должен был измерить храм. Перед разрушением, чтобы после восстанавливать можно было.

– Я тоже. Я тоже отчего-то помню, что плач.

– И не в том штука, вдова или не вдова, бомбят или нет, что за фрукт наш министр, гей, гой или гай юлий там цезарь: главное, не человек давно, биоробот, и нечего ему фоткать людские города, тем более писать о них в твиттер. Срать он хотел на эти ваши города, он сам любой разбомбить готов, едва повелят... Сфоткал, иезекииль хренов. О, нашел! Нашел. Не Иеремия – Иезекииль. Иезекииль, иезекииль; два «и». А она: представь, ты сидишь, к примеру, с заказчиком в ресторане, деловая встреча у вас, всё нормально, пришли к соглашению, пьете красное, а он тебе – «люблю я это белое!» – и глоток. И больше ничего, дальше по-прежнему нормально, но у тебя в ушах: «люблю я это белое». Плохо объяснил, непонятно.

– В них прячется невменяемость, – повторяет Рука, – это так смешно!..

Их маленький поход – туда и обратно.

Местечко началось с ювелирного салона и скупки золота и серебра. По дороге к гостинице попались еще два-три ювелирных – по одному на каждое рондо, которых всего два или три. Золото, следовательно, в городе имелось, а вот пероги в гостиничном ресторане не имелись. Возможно, тоже стали невидимы. Когда Лето спросил портье, оговорившись, что рискует показаться некорректным, тот посоветовал спуститься на цокольный этаж.

– Паньство посмотрят меню, и, если что не подойдет, пойдут в город. А так – внизу терраса с видом на озеро.

– Пан считает это место лучшим?

– Нет, не считает, но и жалоб пока не было.

Лето спросил портье, едва они вошли – даже не заселяясь. С балкона стало очевидно, что основой городка является озеро, оно было как глаз, рощи вокруг – как ресницы. Отель помещался над правой бровью, если считать, что взгляд направлен от них. Свеженький променад, совсем, похоже, недавно выстроенный за евроденьги, зазывал на полноценную прогулку по глазной впадине. Они сняли куртки и спустились.

– Если ты в Польше, надо обязательно заказывать пероги, – говорила Рука. Иногда концепция уточнялась: – Если ты в Польше, надо обязательно покупать колбасу, иначе зачем ты сюда приехал?

Вместо перогов заказали бургеры. Польские бургеры – как польские повербанки. Черт знает, откуда они взялись, но пахнут будьте-нате. Дело действительно происходило на полностью остекленной террасе, даже плоская крыша была из толстого стекла. Лето задумался, как это выглядит зимой – сидеть серым днем под толстым слоем снега, но Рука заверила его, что зимой на веранде никто не сядет. Они выбрали столик поближе к озеру, а за столиком ближе к бару сидели немолодые мужчина и женщина и пили пиво. Когда Лето сделал заказ, официантка ушла вглубь ресторана и вскоре вернулась с великанскими порциями мяса с овощами для тех двоих. Пара была одета в странную крикливую одежду, у женщины на футболке имелись пайетки и рюши, но дешевой ее футболка не выглядела. Мужчина носил сверкающие кроссовки, причем тоже не из простых.

– Они пьяные? – спросила Рука, когда им принесли любушское пиво в бокалах с надписью Witnica, на которую никто из них не обратил никакого внимания.

– Пьяные. Но деньги у них есть.

– Деньги есть, – кивнула Рука, – это заметно. Притом не вполне легальные. Откуда тут нелегальные деньги?

– Сигареты, – привычно ответил Лето, так, как он всегда отвечал в приграничных районах. – И бензин. Курение по-польски – «паленье», а топливо – «паливо». Вот и вся арифметика.

– Какая арифметика? – спросила Рука. Лето не успел объяснить: подали бургеры. В его бургере из кабана оказались сразу две котлеты, каковой факт лишил его на некоторое время способности к рассуждению.

– ...Сейчас мы позакрываем им тут всё.

– Ага! – подтвердил Лето. – Позакрываем, вкусно. И поделом. А то так вкусно, что слишком быстро естся.

– Ну да, бургер всегда быстро естся – такова их природа...

Каждая пахнувшая свежей стружкой лесопильня, сверкающая на солнце силосная башня, каждый воткнутый в поле за деревней ангар подразумевает производство, хозяина и рабочих – ранний подъем поутру, тяжкий труд днем, кусок мяса с картошкой и соусом вечерами, – глоток за глотком восстанавливает Лето свое умение рассуждать. – Булочка в зернах сезама – труд-труд-труд; хозяин-хозяин-хозяин... Может статься, что в местах, где им нравится, кто-то делает больше, чем положено, и таких мест не должно оставаться, или для того, чтобы им нравилось, достаточно просто любить свою работу, но если чересчур любишь работу, станешь биороботом...

– Зайдем – и место, считай, умлажец.

– Кто такой умлажец?

– Не знаю. Чувствую только, что он не живет больше. Труп.

Еще двести тридцать километров – и ныла уже не одна голова, но и кости, где тоже имелся мозг. «Это не *он*, – внушает себе Лето. – Я не безответственен, просто это не он». – «Не стоит кокетничать со смертью», – говорит собеседница. – «Какая собеседница? А... по телефону!» Кто с *ней* кокетничает? Это она с нами... встанет и ждет, потом взмахнет юбками, пахнёт сладковатым застарелым *потом*, пройдет мимо. Слишком много думает – та, которая говорит. Лето ловит себя на том, что говорит с людьми, которые с ним не говорят. Вначале слегка напрягается, что разговаривает сам с собой, но это не так. Он, как игла звукоснимателя, перескакивает с одной дорожки на другую, нынче не то что прежде, нынче чем меньше думаешь тем труднее промыть мозги когда ты не думаешь соцсети и агрегаторы новостей не могут вычислить твой профиль подстроиться под него вплести свою хуйню у дороги в твои извилины, ты нейтрален для токсичного; закажи себе значок с буквой «эн» большой и круглый он мысленно прикалывает значок себе на куртку но булавка прямо не держится один поворот по часовой стрелке превращает «эн» в другую букву Лето возвращает ее на место та валится в обратную сторону эффект неожиданно тот же удивительная буква «эн». Толстая алкоголичка в черном плаще пересекает площадь, на которой группу несовершеннолетних, укутанных во флаги яркой расцветки, увещевает полиция, те хрипло орут свою «Славу!» и уходят; «Кто первый будет в доме?» – кричит им вслед беззубая алкоголичка в черной майке со стеклярусом, пророчица, догадывается Лето, пророчица пересекает бульвар и оказывается на Старувке: мощеной улочкой, как утка, переваливаясь, идет она и взлетает, и, истончаясь, летит.

Завеса между подсознанием и сознанием временно истончилась. Он удивлен тем, что ему удастся реагировать на светофоры, затем осознает, что светофоры в обоих мирах синхронизированы. Зато рассинхронизованы сезоны – и вообще календарь. Он проезжает работающую «Боровку», но сегодня не «хандлёва неделя», не торговое воскресенье, она не должна работать, проезжает мимо закрытой «Боровки», потом все же разворачивается, едет назад, на парковке достаточно машин, он входит в «Боровку», ничего не покупает, так как ему ничего не требуется, выходит на улицу, возвращается, берет «Люблинскую вишневую», платит, едет вперед, среди цветущих лугов пасутся коровы, а кое-где еще не стаял снег, сугробы серо-грязноваты и напоминают пасущихся коров, нет, это не коровы, вернее, не сугробы, а если просто смотришь плазму, то тоже не так штырит, если при этом не думать, хотя штырит, конечно, смотря по тому, о чем ты готов подумать, городской житель при виде обугленной панельной девятиэтажки думает одно, сельский – другое, дикторша в плазме кончает при каждом произнесении слова «масакр», будто вся пролитая

упомянутыми ею жертвами кровь прилила в пещеристое эфирное тело, теребящее ее под юбкой или под тем, что там на ней надето. «Когда я стану президентом Земли, – клянется Лето, – то первым делом велю разбомбить все заводы, производящие плазму».

Решение спуститься на террасу гостиницы оказалось единственно верным, жалоб было – ни одной, а пиво – свежим, они поднялись в номер и вышли в город, неплохо бы еще выпить, подумали они параллельно, только где? На рыночной площади все закрыто, наверное, не сезон, один лишь ресторан, по виду охотничий, с богатой дичью, работал, внутри сидели по-особому одетые люди: хотя вряд ли что-то здесь было безумно дорого, но в любом случае в него не всякий зашел бы; в том же доме находились ломбард и пункт скупки драгметаллов, второй ломбард со скупкой помещался через дорогу, а посреди площади среди вековых деревьев стоял обменник – деревянный домик размером с киоск, они подошли ближе, но курса нигде не было, у них тайный курс, решила Рука, зависит от того, что ты скажешь, войдя; какое кодовое слово, уточнил Лето, вспомнив, как осенью делал тест в Варшаве. Кодовое слово акции, которого он не знал, было «слон»; с него хотели взять в два раза дороже, чем обещал сайт, он возмутился, тогда девица с той стороны кассового окошка ткнула пальчиком вверх, туда, где на полочке сидел белый слон размером со среднего чау-чау: «Слон?» – спросил Лето, и ситуация разрешилась.

Местечко давным-давно опечатано сургучом, занавешено шторами. Скорее всего, до них Барлинек посетили другие ангелы, какие-нибудь Тины-Марии.

– А здесь нет такой беды, какая у них обычно бывает, – удовлетворенно заметила Рука.

На втором круге они попали в известного рода мышеловку. Ряд прусских домов шел вдоль крепостной стены, бывшей крепостной, разумеется, или ничуть не бывшей, а выстроенной как актуальный прикол из старых кирпичей, оставшихся после артобстрелов; руины всегда в моде. Между фасадами домов и стеной всего несколько метров: если два мальчика из одного класса живут в этих домах один на первом этаже другой на третьем этаже один из окна всегда видит стену другой парк как они потом встречаются в классе будучи с разных планет, может, окна во двор, предположила Рука, тогда оба видят это – кивнул он на блеснувшие в просвет между домами стертые до неразличимости хрущобы, Plattenbau, как это плоско звучит, «платтенбау», ну почему, с болью в голосе спросил Лето, так стали строить везде, утешила Рука, до войны ведь все почти жили как Лотте, помнишь, как жила Лотте? а тут отдельная квартира, кран из стены торчит, покрути – вода льется, чего еще хотеть!

– Разве это не бедность? – спросил Лето.

– Я не говорю про бедность, я говорю про беду... В этих их наших городах.

«Я узнал бы у кого-нибудь, где бар, но видишь, они и так пьяные, без баров», – сказал Лето, уклоняясь от следующего пьяного встречного с пакетом «Боровки» в руках. Не пьяными были лишь дама, выгуливавшая чау-чау, и девушка, убегавшая от инфаркта, с довольно неспортивным лицом и совершенно неспортивной фигурой. Один бар был открыт, но из него несло прогорклым маслом (вероятно, масло в нем кончилось еще до того, как начало кончаться повсюду); они миновали его как зачумленный и в приятно хаотичной лавчонке (полуновострой, полупсевдоампир: мыло, селедка, алкоголь) нашли бутылочку с яркой мультяшной этикеткой, Lubelska wiśniówka – чаще всего в подобные бутылки разливают яд, но они знали, что это; теперь к озеру, но там показалось неудобно, на маленькой пристани мужики пили пиво – хочешь туда? нет! – возле пристани светился павильон с детскими игровыми автоматами, небольшая фамилия, укрывшись от ветра, аппетитно уничтожала вафельные рожки с мороженым: на площади, объяснил отец семейства, на углу площади есть отель, надо войти – и будет мороженое...

Болело все. Главное Литву. Миновать. Зачумленную быстро. Как.

Когда-то он обожал Литву. Преодолена или стерта начисто?

Они сидели на скамейке на рыночной площади, пили вишневку и закусывали ее мороженым в шариках, шоколадным, фисташковым и крем-брюле. «Если они тут что-то делают из еды, у них неплохо получается», – констатировала Рука. Пара металлических лебедей сидела на бетонной тумбе в фонтане перед скамейкой, порываясь взлететь, но так и не взлетая. «Помнишь, твоя мама спорила с нами, говоря, что видела в мае лебедей на льду?» – «Помню. Наверное, это были сухие лебеди, как и эти. А лед – искусственным». Мимо мрачно прошагал парень с двуцветной лентой, глядя в никуда, вернее, лицом он смотрел в никуда, а приколотой к полупальто лентой – в окружающее пространство. Поляк или беженец? Его хотели убить или он готов убить? Значит ли это «дайте денег» или «я даю денег»? Он отменил пандемию, только не знает, что его пандемия началась с этой, нашей, его лично, скорее всего, не коснувшейся, а теперь сменился код проверки на лояльность; он этого тоже не знает, но код выучил.

Глазница озера, прогулка меж ресниц, еще бары, открытые, но пустые, закрытые ювелиры, женщина с чау-чау, шахматист Ласкер, четвертый сын синагогального кантора, родился в Берлинхене, третий круг, но синагоги нет как нет, ни в виде руин, ни в виде склада или хотя бы дошкольного учреждения, все тот же алкоголик с пакетом обогнал их, стоило им замешкаться у пирса, видишь хороший ход – не делай его, якобы сказал Ласкер, найдешь лучше (за павильоном с игровыми автоматами неспортивная бегунья завязывала шнурки спортивной обуви).

Сказать, что глаза Лето слезятся – ничего не сказать. Слезы из них ливмя, отключая периферийное зрение, но перед собой он продолжает фиксировать простейшие, насущные вещи: дорогу, чужие машины, аистов, людей. «Может, я их убил. Иеремия, ёпшаламать. Сидят как вдовы... Не заморачиваться или предупредить? Либо я их, либо они меня!»

Вернувшись, они спустились на террасу, Рука надела черную кофточку с красными узорами, а Лето не переодевался, все та же официантка была очень мила, и не от того даже, что Лето оставил ей хорошие чаевые после обеда, а просто так – в этом фрагменте приозерной впадины все были милы; пока он смотрел винные бутылки, особо не проникая их сути, Рука заметила здоровенные безешки в стеклянной горке: о, «Павлова»! да, «Павлова»! они потрясающие, шефиня сама испекла сегодня, возьмем обе, бери то вино, официантка положила одну белоснежную павлову на широкое квадратное блюдо серого цвета а другую павлову в картонный сундучок с серебряной бахромой он взял два бокала красного а потом еще вторая снежная павлова на свет из сундучка потом еще, я заберу этот сундучок с собой, смотри, какой красивый; стекла террасы отражали их внешние и внутренние миры; озеро спало и не спало одновременно, в нем дрожали огни противоположного берега, но сам берег спал. Безумно вкусные павловы, просто безумно, как же ты нашла их, спросил Лето, я просто подошла, и они там были. Он фотографировал их отражения в стекле – вместе с павловой, бокалами вина и свечой, которую принесла официантка, в крыше они отражались интереснее, чем в стенах, правда, одни только лица, остальное попадало на ребра перекрытия. Видишь хороший кадр – жми, Лето жал кнопку, но ничего не получалось, Рука отобрала у него телефон: вот так, видишь, вот, смотри, так. Вот.

Кукольное лицо бейбы баскетбольного роста на рецепции и тачки на парковке, каких не было вчера, каждая под сотню тысяч – утро давало стране угля. На федеральную дорогу они выбрались с ощущением, что уезжают, а что-то остается в ночных стеклах: вчерашние отражения казались слепками душ, в которые верят индейцы, и повезло, что они заключены в коробочку телефона, а если что и застряло в месте ночлега, то разве что бледные размытые тени, колебавшиеся при свете свечи.

– Откуда такие машины? – смутился Лето; он всегда спрашивал, даже если ответа не могло быть, поскольку Рука обязательно знала ответ.

Крутя руль, Рука и в самом деле порассуждала о разных пластах жизни, не всегда заметных для посетившего город стрейнджера: ты понял, сколько здесь ювелирных, а там,

где мы ночевали в прошлый раз, не было ни одного, вообрази, что у них сейчас сходка – где брать алмазы, сидят внизу и решают (Лето кивал головой, думая о том, как алмазные короли наблюдают их выцветшие в солнечном свете отражения).

- В Берлине это никого не удивило бы, почему должно удивлять в Берлинчике? Первая деревня на этой – новой для них – лесной дороге называлась Лубянка.
- Лубянка? – спросил Лето.
- Нет, Лубянка. С твердой «эль».
- Ага – протянул Лето. – Ага...

ПРАВО НА ТЫКОЧИН

Dum dubitat, videre canes : primique Melampus...⁴
Ovidius

– Катрин, Элизабет – все хотели, чтобы их похоронили под буком. А мне хотелось бы, чтобы меня хоронили под березой.

Там, где шла Стена, шумят березы, невысокие, как вымерзшие озимые. Городская достопримечательность. Береза, унтерменш среди деревьев, ворота в подземный мир. Так ведь и было: с одной стороны ад, с другой – тоже жарковато. Ствол-столб краплен, мечен. Черен-бел-горюч. Кривится подозрительно.

– Кому Бухенвальд, кому Биркенау, – шутка вертится на языке минут пять, покауда не гаснет втуне...

– Здесь малую Руку мучили... издевались, били... – и по газам; Рука водит резко, настоящий Шумахер, когда она за рулем коричневой, ему страшно, что – вот-вот, а когда ведет серебристую, то ясно, что все прокатит, оттого они часто срутся: серебристая ее, коричневая – его. Лето не то чтобы страшится нижнего мира, иное дело – превратиться в реального Шумахера. А так-то, может, давно пора.

Тема иссякает и поднимается вновь. Причин мучений маленькой Руки две – ее тяга к справедливости, к герехтигкайт, и, конечно же, фамилия. Лето по привычке удивляется: он бы сказал «как ни странно» – и, как ни странно, фамилия. Ну что за зло причинили людям эти маленькие земляные человечки, эти э-р-д-м-а-н-д-л-и, как кличут их в кантоне Цуг, швейцарской криптодолине (швейцарцы знают толк в земляных человечках, а Лето не знает другого места, где землевечков бы звали столь же изящным образом), когда один только, в силу фамилии, намек на принадлежность к их роду заставлял маленьких людей обижать Руку? Эрдмандли по имени Рука.

– Когда ты сказал, что денежку, которую я положила в автомат, несут на телефон гномы, я помышляла, что все не так уж плохо.

Открытая, льющаяся потоком улыбка: вид признательности. Признания. Случается. Заслужил.

Одержимость дорогой вытекала сама собой. Страхи и радости, что может быть естественнее? Списки, отличаясь перифериями, совпадали в корне. Из корня ветвился тракт, соединявший пару лепестков, два ареала бытия по краям безмерной равнины, не тракт – макраме так себе стежек, по которым Лето, дюжинной мощности водомерка, сплавляется на восток. Где дорожки совьются в толстую нить автобана, там «смок на воде», слоновьи бега и немножко нервно. Не тракт, стало быть – но преувеличение необходимо. Паучок вверх или вниз, один и тот же путь, уверял грек, война же – отец всего, никуда не

⁴ Он в раздразе, у псов же чуйка: прежь всех Чернолапый... Публий Овидий Назон

даться. Бессменная крыша над головой, гонишь ты или гоним. Страхом и радостью, стало быть. Огнем и мечом.

Рука ждет фейерверка, она всегда ждет фейерверка. Вместо меча у нее – кухонный нож, плита на электричестве, поэтому пламя необходимо. Купи, что тебе приглядывается, всегда пригодится. Отчего не купить? Страна набита фейерверками, говорят, страна – что бочка пороха, осталось лишь фитиль поднести: вранье. Никто не решится. Самые мутные страхи – позади. Самые звонкие радости – впереди. И – крыша, крыша!

Всё вранье, погоду обещали одну, она другая. Вместо солнца – сплошная белая мгла, взвесь, пелена; как ни скажи – не то: млечное зазеркалье, так, наверно, вот-вот и... что – и? Неведомо, по чью сторону, еще или уже, провалишься вот-вот или вывалишься, лишь в отеле, тонущем в этой пелене, «а-н-и-я-х-о-т-е-л-ь» с тремя звездами, кажется, что – вот. В безопасности. Лето любит такое обрезание имен, которое приоткрывает истинную суть явлений, «д-о-м-!-с-н-о-в», к примеру, на шестигранной платформе в медвежьем углу его необъятной родины, несущей на себе городскую ель и опоясанной по граням периметра надписью «С новым годом!» Неясно, правда, при чем здесь Ania и кто ее хотел. Быть может, это глас вопиющего в белой пустыне, верните мне мою Аню-Крысю-Марысю, исчезнувшую под марлевой хмарью: дальнобои, выныривая из-под моста, краем глаза улавливают этот призыв и передают его дальше – на собственной волне, от Варшавы до Белостока. Аллюр три звезды, слизни на языке автобана. Лето, пересекая его с помощью развязки поперек, читает сверху: t-a-n-i-a-h-o-t. Пусть так, зато в безопасность.

Шутки ради Лето включает свой русский мобильный. Гениальный минимализм раритетной нокии, куда мгновенно приходит смс. Кривой английский буквально уродует квадратный экран олдтаймера: *Польская граница на замке. Власти BLR говорили тебе ложь. Ступай назад в Минск. Не бери никакие таблетки от белорусских солдат.* «Ничего себе», – говорит Лето, выкладывая на столик прихваченную снедь и открывая себе пиво. «Отельные прелести» – вертится в памяти; утечи картофелины, вынутой из горшка: суп продолжает вариться, а она медленно остывает на ладони шумовки.

– Отельные прелести, – вертятся в голове чьи-то слова, – войти разбросать повсюду чемодан на кровать в одежде достать бутылку из чемодана хлебнуть моментально упасть потупить поглазеть по сторонам отхлебнуть еще повалиться уже потом раздеться и начать думать что же делать дальше.

– Пить, – крутятся в памяти слова Карла, – пить на балконе ставя стакан на перила гадать не соскользнет ли снежинки летят в него и на перила берешь его а под ним чистый кружок перил и кружево белизны вокруг.

– Нежничать, – прокручиваются слова Клары, – нежничать на подоконнике с видом на площадь полную китайцев войти в номер с единственной мыслью что сразу нежничать (она называла – нервничать?) в коридоре не раздеваясь стерильно закрыла дверь даже не вставила карту в держатель света не нужно холодильник так и так включен и нервничать все мне нравится все здесь мое у мужиков так не выйдет у тех нудно долго тяжело потому что у них с каждым местом романы а у меня легкий флирт приехала состроила глазки пообнималась и все довольны...

Отель Titania.

Конец света, дни закрытых дверей, вместо ночлегов постои для милитаристов и медицинского персонала, хотя последний ночлег можно бы приравнять к праву путника с одинокой пыльной дороги приклонить голову, мгла, тридевятое пространство, тридесятое подпространство, бар двадцать четыре официально до двадцати двух тридцати – звонок с фирмы, я такой-то, командированный такими-то, прошу заполнить, маска необязательна, черная тем более, для знающих ночь напролет и даже больше.

Hotel «все разрешено»: зависнуть навечно, не спешить, ничто никуда не уйдет, ни выпивка, ни закуска, китайцы в свою очередь не явятся и не заполонят огромный паркинг подковой обхвативший корабль Титании дальнобои ночь напролет а в номере герметичная тишина двойной стеклянный фасад кажется ты отплываешь куда-то в отдельном модуле,

усталость, апатия, просто жди, ничего не делай, ты не на берегу и не принадлежишь себе, пока твое судно не причалит.

Магия безмолвия и тумана, стеклянистый спрут титаника в подпространстве бар придорожный двадцать четыре до двадцати двух тридцати но знающие ночь и дольше все утонули выныривать по желанию титаник тик-так тик-тин затоплен населенный пункт как выстрел как в судьбе противотуманный проблеск.

Блаженны тонущие, ибо их есть царство небесное.

Кирпичный – самый честный цвет. Предупредительный кирпич в окно задолго до первых казней. Безобидность начал. Так проверяли той зимой коды на входах в здания, без кода ни в церкви не помолишься, ни куска сала не купишь. Программа у охранника сбоят, красный, красный, красный, ближние в очереди делают вид, что ничего не видят, задние напуганы и требуют их впустить, но взгляды отрешенные. Уберите тело, мешает!

Опять же, этакий мрачный детский сад или какая-то такая же мрачная школа, какие встречаются только в Пруссии. Я не спорю, вне Пруссии тоже их хватает, но нужна точка отсчета, необходимо категорическое «только» – подчеркнуть значимость момента: вечер в Бранденбурге, ранние огни, темно-красный кирпич, архитектурная дидактика. Их, кто не знает, может принять за что угодно. Мэрию, комиссариат полиции, Гданьскую почту при первых утренних залпах «Шлезвиг-Гольштейна», только не за учебное заведение. Можно также спутать с больницей. А волк тут как тут: в районе куча больниц, выстроенных аж до Адольфа, их, между прочим, легко спутать с оперой, резиденцией посла или помпейским лупанарием. На исторических гербах округа красуется бук, дерево верхних богов. Любой, кто делал визиты здесь, был рано или поздно удостоен объяснений касательно этимологии названий. Бух, Буххольц. Буки стоят на моренных отложениях возвышенности Барним. Берлин, не Бранденбург; отнюдь не любой удостоен; но – сохраним значимость: – Здесь малую Руку мучили! – и по газам...

Они маршировали колонной прямо с Рынка, с рыночной площади к близлежащему лесу, в одних стреляли, другие падали сами, не застреленными, довольно глубокие рвы, около половины населения переметнулось под землю, примерно полгорода на глубине, и ни следочка, ни выбоинки, ни щербинки, чистые выбеленные стены, на тротуаре каждый камешек различим: если солнце, он есть, а его вроде как нету, нету его, но вроде как есть – тоже вранье?

В тот год строительство «восьмерки», трассы имени героических героев «чуда на Висле», преодолело Замбров, и стало возможным срезать угол лесами, через Корицин и Кнышин. Слоновьи уши объездов, петлями накинута на стыки строящихся участков, утратили актуальность, и Руке не приходилось больше грозно звать от духоты, имитируя звук тормозов фуры и пугая этим соучастников кругового движения. Тиктин они открыли одновременно и параллельно, она по дороге туда, он по пути оттуда, заветный листок, для большегрузных улиток запретный, желтую звезду королевского шляха: как ни скажи, всё не то – секретный километр брусчатки, закрученный в ленту Мебиуса, закупоренный в бутылку Клейна, берущийся из ниоткуда и обрывающийся в нигде. С севера тень замка, в котором четыре с половиной века назад отпели последнего из Ягеллонов и чьи кирпичи обслужили Великую войну, легли в подляскую глину, вымостив кусочек тракта, а с юга – тонкая ниточка к развязке, к восьмерке на «восьмерке», и Titania. Цены в «Титании» были еще те, смешно даже интересоваться, конференц-отель, криптофасад, двойное наностекло, ваш конфидент на большой дороге, наивно думать, никакой айсберг не сдвинет с места эту машину. Бар 24, 3 звездочки.

«Тайный город, – жаловалась Рука, – однажды я поняла мгновенно, что я им тут не нужна, ходят себе люди, и ясно, что до них не докричаться, у меня даже возникла мысль ночевать в монастыре, но я чувствовала, что меня туда попросту не пускают». – «Тайный город, – отвечал Лето, – однажды я полночи звонил по разным номерам, изображенным на всяких вывесках, ночлеги, постой, агротуризм в снегах, трубку никто не брал, я как-то

умудрился заехать за Варшаву, поспал на орлене, сделал себе душ, поджав снизу кран в туалете, после пришлось, разумеется, немного протереть пол, позавтракал творожниками в сахарной пудре с вишневым вареньем...»

Рано ли, поздно ли, сюда приходят люди с востока. Они заполняют собой не только рвы и площади, они обживают «Титанию», та становится табором, бивуаком, женщины, доставленные из Кресов, второй день стайно курят под Таней-хот в спортивных костюмах и разношенных сабо, они вполне могут оказаться Танями и вполне «хот» под оболочкой сонного равнодушия к общим судьбам – своей и приютивших их людей; это временно роднит их с Лето, с его усталостью и вообще. У них проблемы с коммуникацией, и Лето решается помогать, привычная роль – та же капсула и вообще, «зокрема», какого крема? Не крема, а творог сам по себе, блины сами по себе, так Лето понимает зокрема, лед тронулся, пора переходить на более общий язык, раздобыть пластырь и игральные карты, от Старого Ежева автобус на Старый Рынок, пешком до гробли, нет, не до гроба, дружба дружбой, а табачок зокрема. Толмач тот же доктор, потому не забирай себе их боль, Лето, не отнимай ни крошки боли, они живут болью.

...Насквозь еврейский, да, замок, да, костел, на базаре определенно свиной смалец со шкварками, но все равно еврейский. Вон домик – на Пилсудского, но супротив бывшей синагоги, что на Козьей улице, в домике том родился Мотэле Заменгоф, папаша доктора Эсперанто, дед языка надежды. Табличка в виде герба или щита без умбона, *мемореал... наскигис...* как будет на эсперанто «эрдмандли»? Эрдмандли на эсперанто будет «нано»! Ничего себе, может, у вас и шкварки гусиные?

Шло полгорода – или не шло? Мужчин отделяли от женщин и детей? По четыре в ряд? Клезмеры в конце колонны играли хатикву – или хаванагилу? Надежда наша, атиква, Тиктин-городок. Позарастали стежки-дорожки, кареты сделалась тыквами. И ни следа.

Спираль, лабиринт: не то. Глаз торнадо. Нет. Центр циклона. Если к чему-то долго стремишься, оно шагнет тебе навстречу. Одним прекрасным вечером Рука призвала его смотреть на украшенную зажженными свечами елку. Давай смотреть на елку, настаивала она, садись рядом, будем смотреть на елку. Если долго смотреть на елку, возражал он, елка может прийти к тебе. Никто не придет, уверяла Рука. Просто смотри на елку. Они смотрели на елку так долго, что одна из свечей, догорая, вспыхнула ярче обычного. Иглы загорелись, Рука тушила их, заливая водой. Горячий воск забрызгал руку Лето, руку залили спреем, спрей брызнул на конфорку. Мы и плитку вылечим, радовалась Рука. Она тоже будет смотреть на елку, радовался Лето, мы все будем смотреть на елку... Вчера у меня распух большой палец на левой ноге, подытожил Лето, и я забыл про боль в растянутой правой лодыжке, а когда обжег руку, то забыл и про большой палец. А вдруг это выход: наносить себе все новые и новые увечья, чтобы излечить старые? Не делай этого, сказала Рука совершенно серьезно, быть жертвой легче, пассивность очень удобная; ты рулитесь своей судьбы, ты рулишь, это единственный путь к счастью, иначе тебе раз что-то дают, а потом топчут в яме; ты будешь хозяином, когда примешь ответственность за все, что случается в твоей жизни.

Не умею принять ответственность... Сумею ли принять боль?

Цены рухнули внезапно, как млечная взвесь, но ожидаемо. Конференции остались в прошлом, в уик-энд дешевле, чем в будни. Лето и Рука двумя машинами, где цугом, где расходясь достаточно далеко во избежание срача. Титаник непотопляем, его остекленный остов держится на плаву до двадцати двух тридцати, подкову парковки замыкает сад иллюминированный оазис пей всю ночь к утру увидишь город все предопределено но свобода дана, утверждает Мишна.

Ты – хозяин боли.

– Я буду Сара Гном, – говорит она и становится Сарой Гном.

Сара в профиль перед белым домом, рубаха серого холста, черная юбка, сандалии, волосы сколоты на затылке, плечи слегка ссутулены, глаза незряче ловят в бесконечности

сияние Сиона, еврейская Сара, еще немного, и ее возьмут, никто этого не замечает, никто не видит Сары, исключительно тонкий, в силу обстоятельств, намек на знакомую Лето ситуацию. Ближние делают вид, что ничего не видят, задние напирают и требуют, не судьба повторяется, не дай боже, и не отношение к судьбе, слава те господи, но взгляды отрешенные, как будто нету их, как будто нету его, хотя кто-нибудь мог бы и предложить купить для него чертов кусок сала прямо за спиной в униформе... он стоит, но его здесь нет, для ближних как бы нет, а для дальних как бы он есть, но как бы мертв, уберите тело, мешает.

Не кипишуй, Лето, Сару не возьмут, еще не пора.

Ярко тени на штукатурке.

– У нас гулаг, а тут свобода, радость – говорит Лето.

– Тут все с радостью уничтожали евреев, – соглашается Сара, – свободно, они же католики, а евреи распятели Христа.

– Я буду Мотл... Мотл Мышь, – говорит Лето, поскольку где гномы, там и мыши.

– Я буду Мотл... Мотл Мышь, – говорит Лето, но ничего не происходит.

Кто в домике хозяин?

Говорит, будет Сара Гном, и сделалась Сара Гном, силуэт на фоне еврейского дома, еврейский силуэт, только у Сары Гном может быть такой силуэт, а я буду Мотл Мышь, глазки-бусинки, усики в сальце, но не вышло, был Лето и остался Лето.

– Ты ночью кричал!

– А что я кричал?

– Бедный мышь... даже обидно, я так отпаивала тебя...

– Мне, наверное, снилось, что я попал в рай, умер и попал, вот и вздыхал: бедный мышь... Пока я кудрявый был, бабушка звала меня мышом, позже-то она мне волосы распрямила. Так бывает: умер, все вздыхают, а ангелы сокрушаются, почему бедный, ведь хорошо ему здесь?

Мышка за кошку, кошка за внучку. Бабка, дед и чей-то мальчик с сачком у ворот. Базар в городишке: подлинный, не киношный штетл. Сара Гном делает разворот перед каким-то муниципальным офисом, со двора выходят бабка, дед и мальчик с сачком. Сара беседует в магазине с консервной банкой: не хочешь ли ты пойти со мной? Бабка, дед и мальчик с сачком проходят мимо, пока Лето залезает к Саре в машину, у мальчика семитский рот и цыганские глаза. Такие же, как у маленького Лето, только у Лето волосы были кудрявыми, были да сплыли, к великому огорчению бабки, любившей накручивать на палец его локончики. К вящей ее радости: так она боялась, что Лето похож на жиденка, глупый мышь, говорила она Лето, глупый Мышь, она помнила, бабка, что она помнила?

Ах, малина, малина, ах, помидоры, ах, малиновые помидоры!

Вранье, вранье, Википедия, сука пиндосская, пытается срать, мол, папаша Мотл родился в Сувалках, а не на улице Козьей, как написано на стене домика, в котором он родился, зачем бы ему родиться в Сувалках, что есть Сувалки, что суть Сувалки, Сувалок много, сегодня да, в них, в Сувалках, есть плаза, теско, шмеско, а были дыра дырой, Лето не понимает, зачем людям столько вранья, но зачем людям эсперанто, тоже не понимает; ему нравится не понимать – зачем нужен универсальный язык, пусть остается как есть, должна быть зона непонимания, ставь надежду всяк сюда вхо.

А цены встали. Поселюсь-ка я тут на зиму! – думает Лето. У нас саласпилс, у нас алитус, здесь все разрешено. «Адольф, – думает Лето, – черный князь Атлантиды». Русское поле вызвало его сюда. Без него сидел бы он на дне морском, пил с Садко шнапс. Чья жуть лучше, его или наша, сверхчеловеческая или обычная? – именно так он и думает, если уж без жути нельзя. Где-нибудь был съезд на агротуристику, сколько они захотят за месяц? Почти неразличимо в тумане, раз развернулся, два, нашел аппендикс поперек шоссе, туман редет, раз хутор, два, выбегает пара собак, огромная и мелкая, овчарка и неведомо кто, овчарка прихрамывает на черную переднюю ничего не бояться лают бросаются под колеса

не дают проехать (что за зло он им причинил?), что они знают о нем, черные псы памяти – или это белые псы? На одном из хуторов кого-то прятали, ямы рыли, бункер крыся, бункер марыся, не для того ли все и было затеяно, чтобы кто-то прятал не самого хочется сказать приятного достаточно хочется сказать отвратительного сала он видите ли не хочет чем же тебя кормить пся крив оленьей собачатиной, для этого и затевалось, пусть прячущий грядет, эй, прямыми сделайте стези, в гробле я вашу агротуристику, назад, назад, в туман.

Не забудь про фейерверк, Мотэле, Сара ждет фейерверка. На углу «Левиафан»: для тех, кто знает, лесенка на этаж, бытовая химия, дешевая обувь, домоводство, садоводство, сделай сам, две доски, четыре гвоздя и еврей тридцати трех лет, но не пора еще, вот-вот Рождество грянет, шестнадцать ракет, восемь петард, у крыльца «Левиафана» притаился грузовичок, восемь-восемь-восемь, блатной номер, другой анекдотец приходит на ум, Лето читает номера машин как послания.

Восьмерка «восьмерки», оборот-оборот, с востока на запад редкие дальнобои тонут в тумане айсберг «Титании» в тумане ни звезд ни чисел молочные капли по непрерывно шевелящимся усам дворников текут – в рот, естественно, не попадая.

Тонули, тонем, будем тонуть.

Блаженны идущие ко дну, ибо они наследуют океан.